СИГИЗМУНД ДОМИНИКОВИЧ

КРЖИЖАНОВСКИЙ

Возвращение Мюнхгаузена



РУССКАЯ КЛАССИКА

Сигизмунд Доминикович Кржижановский

Возвращение Мюнхгаузена

Серия «Русская классика (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74724186
Возвращение Мюнхгаузена:
ISBN 978-5-17-192617-5

Аннотация

В повести «Возвращение Мюнхгаузена» знаменитый барон и выдумщик вновь отправляется в приключение. Иероним фон Мюнхгаузен совершает немыслимый прыжок во времени – в начало двадцатого века. Его фантазии предстоит потягаться с новыми суровыми порядками общества: прагматичностью и системностью. Но это его не страшит, поэтому он снова седлает ядро и, оказавшись в самой гуще исторических событий, отправляется изучать Советский Союз.

В издание также вошли повесть «Странствующее „Странно“» и авторский сборник «Чужая тема».

Содержание

Возвращение Мюнхгаузена 5
Глава I 5
Глава II 19
Глава III 41
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Сигизмунд Доминикович Кржижановский

Возвращение Мюнхгаузена

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Возвращение Мюнхгаузена

Глава I
У всякого барона своя фантазия

Прохожий пересек Александерплац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:

– Восстание в Кронштадте!

– Конец большевикам!

Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва – черт, ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.

Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.

На повороте лестницы:

– Как доложить?

– Скажите барону: поэт Ундинг.

Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:

– Как?

– Эрнст Ундинг.

– Минуту.

Шаги ушли – потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

– Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйте.

– А, Ундинг.

– Мюнхгаузен.

Ладони встретились.

– Ну вот. Придвигайтесь к камину.

С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом – подошвами в каминную решетку – пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом – в готические спинки кресел – длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой наежившихся ресницами зрачков.

Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.

– На столике сигары, – сказал наконец хозяин. Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета; стукнула крышка сигарного ящика – потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.

Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.

– Мы, немцы, научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и постлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зубах и фантазия кургуза. Вы разрешите…

Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись – и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел: из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье камзол; длинная шпага в обитых ножнах; изогнутая в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз – бантом на крюке.

Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.

– Еще меньше мы смыслим в туманах, – продолжал курильщик меж затяжками, – начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белесые флеры, подымающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и миросозерцания, заштриховать факты и… одним словом, еду в Лондон.

Ундинг встопорщил плечи:

– Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кой-чему научились, например: эрзацам и метафизике фикционализма.

Но Мюнхгаузен перебил:

– Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более ста-

рого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочники, а веревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше: «Доктор, – сказал я философу, – с тех пор, как „не-я“ выпрыгнуло из „я“, ему следует почаще оглядываться на свое „откуда“». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.

– Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется «не-я», а само отворачивается от всяческих не. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, – поклонился он в сторону собеседника, – но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я – глоток за глотком, вы же сидели не касаясь губами стекла, и только изредка – по вашему кивку – кельнер на место невыпитой рюмки приносил другую, остававшуюся тоже не выпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. «Меня интересуют лопающиеся пузырьки, – отвечали вы, – и когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены». Что ж, всякий развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее

поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня – напоминаю вам это, Мюнхгаузен, – как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки…

– Вы злопамятны.

– Я памятлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у двух сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: «Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?» – вы – с учтивым поклоном – назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место – вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, – между нами – как поэт я готов верить, что вы – вы, но как здравомыслящий человек…

В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку, с овалом лунного камня на безымянном, к аппарату:

– Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да-да. Буду через час.

И трубка легла на железные вилки.

– Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже переста-

ли верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не перестанут. Вы подымаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.

– Вы шутите.

– Ничуть: на жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газеты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да.

– Что ж, – усмехнулся поэт и оглядел длинную, с локтями на поручнях кресла, фигуру собеседника, – если акции мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение: до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное как. Конечно, я признаю некую диффузию меж былью и небылью, явью в «я» и явью в «не-я», но все-таки как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации. Мне это важно знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то…

Мюнхгаузен, казалось, колебался.

– Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина, чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете… только раз-

решите хоть изредка, иначе я не могу, из тины истины – в вольный фантазм. Итак, начинаю: представьте себе этакий гигантский циферблат веков; острие его черной стрелы – с деления на деление – над чередой дат; сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу: 1789–1830–1848–1871 – и еще, и еще, – у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов (и всего, что в них) стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть, помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее: коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой о цифры все сильнее и сильнее: на 1789-м крепче стискиваю колени, на 1871-м приходится и руками, и ногами за края стрелы, но с 1914-го тряска цифр делается невыносимой; ударившись о 1917-й и 1918-й, теряю равновесие и, понимаете ли, сверкнув пятками, вниз.

Навстречу – сначала неясные, потом вычетчивающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры, – воздух, и ничего кроме воздуха. Вдруг – удар о ладони, сжимаю пальцы – в руках у меня шпиль, представьте себе, обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой – в двух-трех футах – флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачивает из стороны в сторону – и я могу спокойно оглядеть рас-

пластавшуюся под моими подошвами в двух-трех десятках метров ниже землю: радиально расчерченные дорожки, мраморные марши, стриженные шеренги деревьев, прозрачные гиперболы фонтанных струй – все это как будто уж знакомо, не в первый раз. Скольжу по шпилю вниз и, усевшись на дымовой трубе, внимательно оглядываю местность: Версаль, ну конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти? Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказывают мне простой и легкий способ. Напоминаю: если я теперь, так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма – и я ныряю в дымовой поток, как водолаз в воду, и, плавно опускаясь, я вскоре у дна, то есть, отбрасывая метафоры, внутри камина, такого же, как вот этот (лакированный туфель рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни за которой уже успели оттлеть). Я огляделся – никого. Вышагнул наружу. Камин находился, если судить по заставленным книгами и папками длинным сплошным полкам, в библиотеке дворца. Я прислушался: за стеной шум сдвигаемых кресел, потом тишина, размеченная лишь дробным стуком маятника, потом заглушенный стеной чей-то ровный шаркающий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, человеку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще не было известно, что это одно из заседаний Версальской конференции. На библиотечном столе картотека, последние номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузил-

ся в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной – шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я… нет, видно, еще раз придется навестить старый шкаф.

И Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь, приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщащийся карман старинного камзола.

– Ну вот, – повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке алело сафьяном небольшое в золотом обрезе с кожаными наугольниками ин-октаво. Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь: первое лондонское издание еще 1783-го года.

Он отогнул ветхий истертый переплет. Зрачки Ундинга, вспрыгнув на титулблат, скользнули по буквам: «Рассказы барона Иеронима фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России». Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла.

– Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам, – продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки, – я поспешил спрятаться: открыв свою книгу – вот так, – я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался, сколько мог, и впрыгнул меж страниц, тотчас же захлопнув

за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплющившись меж шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой страницами, находился я.

– Должен вас перебить, – привскочил с кресла Ундинг. – Как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это во-первых, а…

– А во-вторых, – ударил ладонью по сафьяну барон, – я не терплю, когда меня перебивают… и в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт, если не знаете, что книги, если только они книги, иногда соизмеримы, но никогда не соразмерны действительности!

– Допустим, – пробормотал Ундинг. И рассказ продолжался.

– Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня врасплох (кстати, это был один из онеров трепаной дипломатической колоды), привел и себя, и меня к новому расплоху: пальцы дипломатического туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за сафьяновую дверь моего убежища, страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющась, не знал, как быть. Туз выронил сигару из рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего: я вышагнул из книги и, сунув ее себе под мышку, вот так, сел в

кресло напротив и придвинулся к дипломату, колени к коленям. «Историки запишут, – сказал я, ободряюще кивнув, – что открыли меня вы». Отыскав слова, он наконец спросил: «С кем имею?!» Я опустил руку в карман и, молча, протянул ему вот это.

Прямо против глаз откинувшегося к спинке Ундинга проквадратилась визитная карточка – готическим шрифтом по плотному картону:

Барон ИЕРОНИМ фон МЮНХГАУЗЕНПоставка фантазмов и сенсаций. Мировым масштабом не стесняюсь. Фирма существует с 1720.

Пять строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и десяти раз, как рассказ возобновился.

– Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысли – из большой посылки в малую, я услужливо пододвинул вывод: «Более нужного человека, чем я, вам не сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем…» – и я раскрыл свое инокатво, готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть: «Ради Бога, прошу вас». Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое старое обжитое место, вот тут – между шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой, не угодно ли взглянуть? – опустело, думаю, надолго, а то навсегда.

Ундинг взглянул: на отогнутой странице меж разомкнувшихся абзацев из тонких типографских линеек – длинная рамка, но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа – иллюстрация исчезла.

– Ну вот. Моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем… впрочем, минутная стрелка разлучает нас, любезнейший Ундинг. Пора.

Барон нажал кнопку. В двери просунулись баки лакея.

– Подайте одеться.

Баки – в дверь. Хозяин поднялся. Гость тоже.

– Да, – протянул Мюнхгаузен, – они сняли с меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда эту вот ветошь (длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому шкафу), эту вот тлень, сняв с крючьев, на парчовых подушках, в торжественной процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство.

Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону:

– Вы перефразировали самого себя. Отдаю должное – как поэт.

Лунный камень опустился книзу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплиссировалось в множество смеющихся складочек, как-то сразу старея на столетия, глаза сощурились в узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы:

– Да-да. Еще в те времена, когда я живал в России, они сложили про меня пословицу: «У всякого барона своя фантазия». «Всякого» – это позднее присказалось, имена ведь, как и иное все, затериваются. Во всяком случае, льщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов использовал право на фантазию. Благодарю вас, и тоже – как поэт поэта. – Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундингу. – И как хотите, друг, можете верить или не верить Мюнхгаузену и… в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да, еще – крохотный совет: не всверливайтесь глазами во всех и все, ведь если просверлить бочку – вино вытечет, а под обручами только и останется глупая и гулкая пустота.

Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули протоколы Лиги Наций, подлинные документы о Брестском мире, стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных, иных и иных договоров и пактов.

Брезгливо сощурясь, барон Мюнхгаузен поднял портфель за два нижних угла и вытряхнул все его содержимое на пол. И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо дожидающемуся на ручке кресла томику

в сафьяне; томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.

Глава II
Дым делает шум

Сначала под ногами Ундинга побежали ступеньки, потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мглистые весенние сумерки.

Ундинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку, под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой прями бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шинами стеклистой слизи асфальта тянулись нитью фиолетовых бус отражения фонарных огней; с выступов в креп сумерек овитого дворца свешивались обмокшие в дожде флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз – чугунные скамьи Унтер-ден-Линден, и навстречу – утаптывающая бронзовыми копытами воздух черная квадрига Бранденбургских ворот.

Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо десяти перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискусной подделкой под воздух; вспучившиеся стекла фонарей, казалось, вот-вот – легкими пенными пузырями вверх, а на крыши и панель беззвучным обвалом рух-

нет тьма. Замелькавшие мимо шагов голые деревья Тиргартена напомнили пешеходу об искромсанных снарядами перелесках, потом ассоциации придвинули ближе глаз, внутрь черепа, скрещение фантастических траншейных улиц. Пешеход остановился и, вслушиваясь, думал, что гул города – там, за Тиргартеном – похож на уползающие грохоты артиллерийского боя. Под большим и указательным правой руки, еще помнившей недавнее прикосновение пальцев Мюнхгаузена, вдруг ясно ощутилась, почти обжигая кожу, раскаленная выстрелами сталь ружейного замка.

– Фантасмагория, – пробормотал Ундинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей.

Чья-то зыбкая тень, будто ее назвали по имени, несмело приблизилась к поэту. Под обмокшим каркасом шляпы выпяченные голодом и румянами скулы – проститутка. Ундинг отвел глаза и пошел дальше. Вначале он пробовал придумать уменьшительное к имени фантасмагория. Но ни «хен», ни «лейн» не прирастали. Тогда, вслушиваясь в ритм своих шагов, он привычным психическим усилием завращал в себе ассонансы и ритмы – внешний мир для него стал короче полей его фетра, и немая клавиатура слов зашевелила своими клавишами.

Толчок плечом о чье-то плечо опрокинул строфу – роняя рифмы, поэт поднял глаза, оглядывая улицу. Подъезд его дома оказался пройденным. Вдруг ощутилось: к коленям тяжелыми гирями – усталость. Ундинг с досадой прикинул в уме:

два раза по двести – итого четыреста шагов чистой убыли; вот и весь гонорар.

Эрнст Ундинг далеко не каждый день читал газеты. Правда, после прощального разговора с Мюнхгаузеном он натолкнулся на заметку в три строки о члене дипломатического корпуса бароне фон М., выбывшем экспрессом – по делам, не подлежащим оглашению, – в Лондон. Еще через неделю крупный шрифт газетной депеши сообщал об успешном представительстве фон М. во влиятельнейших сферах Англии. Остальные буквы имени будто проваливались в лондонский туман. Ундинг с улыбкой отодвинул газетный лист. Дальнейшие информации прошли мимо него: Ундинг простудился и слег, выключившись на пять или шесть недель из всех событий. Когда больной поправился настолько, что мог подойти к окну и раскрыть ему створы, из-за стекол ударило солнечным весенним воздухом. Снизу, рикошетируя о стены, вперебой голоса газетчиков. Перегнувшись через подоконник, Ундинг услышал сначала конец выкрика, потом начало, потом все:

– Сенсационно! Барон Мюнхгаузен о Карле Марксе!!!

– Мюнхгаузен о…

Полыхнуло ветром. Выздоравливающий сомкнул окно трудно дыша, опустился на стул. Губы его, беззвучно шевельнувшись, проартикулировали:

– Начинается.

Тем временем барон Мюнхгаузен, благополучно прибыв

в Лондон, был, по его словам, чрезвычайно любезно принят местными туманами. Туманы верно и покорно служили ему. Он умел наполнять ими головы по самое темя ловчее опытной молочницы, разливающей свой товар по бидонам.

– Лошади и избиратели, – говаривал барон в узком дружеском кругу, – если не надеть на них наглазников, непременно вывалят вас в канаву, и я всегда был поклонником Тенирсовой техники, дающей возможность черному стать белым, а белому породниться с черным через серое. Нейтральные тона в живописи, нейтралитет в политике, и пусть себе Джоны, Михели и Жаны пучат глаза в туман: что там – луна или фонарь?

Впрочем, парадоксы эти редко переступали порог трехэтажного коттеджа на Бейсвотер-род, где поселился барон. Дом был нарочно выбран в некотором отдалении от грохочущего Черинг-Кросса, обменивающего людей на людей. Позади коттеджа просторные и не слишком шумные улицы Паддингтона, а из окон верхнего этажа – за длинным извивом ограды – молчаливые аллеи Кенсингтонского парка: зимой – на его деревьях клочьями ваты снег, летом – под его деревьями, закапанный чернильными пятнами теней, шафранный песок дорожек.

Поселившись здесь, барон Мюнхгаузен прежде всего распорядился перекопать крохотный палисадник, прижавшийся орнаментами своих ковровых цветов и стриженой травы к красным кирпичам дома, и собственноручно насадил се-

мена турецких бобов, привезенных им в особой старинной коробочке на дне дорожного чемодана. Бобы после первых двух-трех поливок со странной быстротой закружили своими спиралями по стене вверх и вверх. Еще в полдень они были на уровне первого этажа, а к вечеру, когда сквозь сизо-коричневый туман прорезался мутный серп луны, тонкие усики зеленых витуш уже дотянулись до окна кабинета на третьем этаже, где хозяин в это время работал, придвинув какие-то старые в бисеринах букв записные тетради к зеленому колпачку лампы. Бобовые спирали поводили тонкими нитями усиков, явственно нацеливаясь ими в лунный серп. Но Мюнхгаузен строго оглядел странников и, погрозив пальцем, сказал:

– Опять?

И наутро удивленные прохожие, покачивая головами, созерцали буйную поросль, которая, докружив до самой крыши, вдруг обвисла зелеными спиральными свесями назад к земле. С этого дня дом на Бейсвотер-род прозвали «коттеджем сумасшедших бобов».

Распорядок дня барона Мюнхгаузена подтверждал слова модного американского писателя: «Духовные вожди человечества работают не более двух часов в сутки, – притом они работают далеко не каждый день». Обычно, встав с постели, барон просматривал газеты, выпивал чашку кофе мэрвайс и, выкурив трубку, менял ночные туфли на остроносые штиблеты. После этого начиналась прогулка. Первую ее часть

барон совершал пешком: он пересекал зеленолистный Кенсингтон от северных ворот к западным. Ему нравилось видеть прыгающие по дорожкам пестрые лучи, песочные города, крохотных головастиков, которым старые – недопревратившиеся в миссис – мисс читают сказки из большебуквых, с раскрашенными картинками книг. Слева выгибала серые чешуи Змеиная река. Справа – навстречу шагам сквозь паутину ветвей – памятник несуществовавшему Питеру Пэну. У западных ворот дожидается лимузин. Шофер Джонни откидывает дверцу, и барон под защелк – неизменное:

– К самому несуществующему.

Джонни: «Слушаю». И лимузин, обогнув ограды Кенсингтона и Гайд-парка, поворотом руля вправо добавляет еще четыре колеса к тысячам колес, скользящим вдоль одетой в стекло и камень Пикадилли. А там по странду – и справа затканные в туман над ребрами кровель башни Тампля и круглый купол Св. Павла. У ступеней собора Джонни снова откидывает дверцу: приехали.

Барон раздает пенни нищим и входит в храм. Чаще всего он посещает знаменитую Галерею Шепота, умеющую пронести сквозь сотни футов малейший шорох еле слышного слова; но иногда он направляется к величественным мраморам гробницы Веллингтона. Тут всегда кучка туристов, шмыгающих глазами по акантным завиткам капителей, кистям балдахина и буквам, врезанным в камень. Но Мюнхгаузена интересует другое. Подозвав служку, он протягивает палец к

аллегорическим фигурам, затерявшимся среди деталей надгробия:

– Что это?

– Правдивое изображение Истины и Лжи, сэр.

– А которая из них Истина? – прищуривается барон.

– С вашего разрешения, вот эта.

– В прошлый раз, помнится, вы называли ее Ложью, – подмигивает барон, и правая бровь его выгибается кверху. Тут служка, привыкший уже к причудам посетителя, знает, что наступил момент, когда надо смотреть не на Истину и не на Ложь, а на серебряный шиллинг, блеснувший из щепоти богатого посетителя, потом благодарно откланяться и исчезнуть. Из собора Мюнхгаузен выходит с ясным, чуть не просветленным лицом и, ставя ногу на ступеньку авто, неизменно произносит:

– Когда к Богу ни приди, никогда его нет дома. Попробуем к другим.

Произносится адрес – и Джонни поворачивает руль или вправо к Патерностер-стрит, или влево к суете Флит-стрита, расшвыривающего буквы по всей земле; отсюда уже двадцативерстные радиусы Лондона – то тот, то этот протягиваются под шуршащие шины лимузина.

Отдав два-три визита, барон кивает шоферу: домой. Назад едут чаще всего нищими кварталами Ист-Энда. Грязные дома похожи на прессованный туман, но человек, откинувшийся к кожаным подушкам лимузина, думает, что только

одно в мире не рассеять и не свеять ветрами: нищету.

В коттедже сумасшедших бобов уже дожидаются интервьюеры. Карандаши их приходят в движение. Мюнхгаузен терпеливо и любезно отвечает на все вопросы.

– Мое мнение о парламентаризме? Извольте: как раз вчера я закончил вычисление о количестве мускульных усилий, потребовавшихся для подъема и опускания языков всех ораторов Англии; из расчета по три оппонента на одного докладчика, беря нижнюю и верхнюю палату, перемножая число годовых заседаний на число лет, считая с 1265-го по 1920-й, присчитав фракции, комиссии и подкомиссии и переведя все в пудо-футы и лошадиные силы, получим – вы только представьте себе – силовой разряд, достаточный для возведения двух Хеопсовых пирамид. Какое величественное достижение. Только подумать. И социалисты после этого утверждают, что мы не знаем физического труда.

– Моя тактика борьбы? В социальном плане? Чрезвычайно простая. До примитивизма. Даже африканские дикари умели ее сформулировать. Да-да, у них на озере Виктория есть водопад; когда подъезжаешь – уже за много километров слышен шум; приблизившись, видишь гигантское облако водяной пыли – от неба до земли. Дикари назвали это – Мози-са-Тунья, что значит: дым делает шум. Вот.

– Вы там бывали, сэр? – интересуется репортер.

– Я бывал в небывалом – это значительно дальше. И вообще, я полагаю, – вы записываете? – реальны лишь две силы:

шум и ум. И если б когда-нибудь они соединились. Впрочем, давайте на этом кончим.

Барон встает, интервьюеры прячут блокноты и откланиваются.

После этого слуга докладывает: обед подан. Мюнхгаузен спускается в столовую. Среди череды блюд всегда и его любимые жареные утки. Насытившись, барон переходит в кабинет и усаживается в мягкое кресло; пока слуга хлопочет у вытянутых ног барона, меняя штиблеты на пуховые туфли, барон, благодушно щуря глаза, с сытой созерцательностью наблюдает, как лондонский дождь там, за стеклом, заштриховывает зеленый пейзаж парка. Наступает час, который в коттедже сумасшедших бобов принято называть часом послеобеденного афоризма. На пороге, бесшумно ступая, появляется чинная мисс и, выдвинув из угла столик с пишущей машинкой, кладет пальцы на клавиатуру. Мюнхгаузен не сразу приступает к диктанту: сначала он долго сосет свою трубку, передвигая ее из одного угла рта в другой, как бы выбирая, каким углом курить, каким говорить. Курит барон удивительно: сначала сизо-белые вращающиеся сфероиды, потом вкруг них прозрачными сатурновыми кольцами – одно кружит вправо, другое влево – медлительные дымные извития:

– Пишите. Старому лимбургскому сыру никого не жалко, но он все-таки плачет.

– Раньше чем устрица успеет составить мнение о запахе

лимона, ее уже съели.

Уши мисс спрятаны под тугие рыжие пряди, и сидит она, отвернувшись от афоризмов, с глазами в косые линейки дождя, но пальцы стучат по клавишам, дождь стучит по стеклу – и диктант длится, пока барон, вытряхнув пепел из трубки, не произнесет:

– Благодарю. Завтра – как обычно.

Он пробует приподняться, но дремота отяжелила ему тело, затуманила мысли – и явь вместе с рыжеволосой мисс, неслышно ступая, выходит за порог.

А под смеженными веками череда видений: снящийся автомобиль везет Мюнхгаузена по снящимся улицам; они странно безлюдны и немы, и, ни разу не нажав сигнального рожка, Джонни останавливает шуршание шин у колоннады Св. Павла. Мюнхгаузен уже опустил ногу к ступеньке, как вдруг собор приходит в движение, голова его под гитантско-круглой шапкой наклоняется, бодая крестом воздух, двускатная спина выгнулась, и чудовище, шевеля всеми своими колокольными языками, кричит: «Сэр, как пройти в Савлы, прямо и не сворачивая?» Расторопный Джонни включил мотор и крутым поворотом руля – назад, но чудовище, шагая двенадцатью гигантскими колоннами и с грохотом волоча свое длинное каменное тулово, – вслед. Коробка скоростей, проскрежетав, швыряет стрелку на максимум. Но чудище, проворно перебирая колончатыми лапами, все ближе и ближе. Машина на полном ходу сворачивает в одну из уз-

ких улиц Ист-Энда. Собор пробует протискаться вслед, проталкиваясь прямоуголием каменного плеча в уличную щель. И тут Мюнхгаузен, вскочив на сиденье, кричит в сотни квадратных глаз, протянувшихся справа и слева: «Эй вы, чего уставились, не пускайте его!» И дома по первому же окрику, послушно придвигая окна к окнам, загораживают собору путь; со вздохом облегчения барон опускается на подушки, но в это время он видит повернувшееся к нему смертельно бледное лицо Джонни: «Что вы наделали! Мы гибнем». И, действительно, только теперь барон видит, что ведь дома нищего Ист-Энда, лишенные промежутков, впаяны друг в друга, кирпичи в кирпичи, образуя одну, лишь цифрами номеров членимую массу; и как только те позади придвинулись друг к другу, передние кирпичные короба принуждены делать то же – и улица медленно сдвигает стены, грозя расплющить и мчащийся автомобиль, и тех, кто в нем; оси машины – нет-нет – чиркают о стены, скорей – впереди просвет площади; но поздно – гигантская плющильня зажала бессильно жужжащее авто в затиск многоэтажных коробов, ее стальные крылья и кузов хрустят, как елитры насекомого, попавшего меж земли и подошвы. Ударом ноги Мюнхгаузен вышибает надвигающуюся справа на него оконную раму и впрыгивает внутрь дома. Но бедному Джонни не повезло: он в пролете меж двух окон, улица уперлась кирпичами в кирпичи, – короткий крик, затерявшийся в удары громад о громады, – все стихло. И вдруг позади: «Стекольщику будете платить вы,

мистер». Мюнхгаузен оборачивается – он внутри бедной, но опрятно убранной комнаты; посередине – кухонный стол, за столом над дымящимися мисками пожилой человек без пиджака, костлявая женщина с больным румянцем на скулах и двое мальчуганов; свесив ноги со скамьи, с ложками, увязшими во рту, дети восхищенно разглядывают пришельца. «И должен вас предупредить – стекло подорожало, – продолжает мужчина, размешивая содержимое миски. – Том, пододвинь стул мистеру, пусть присядет».

Но Мюнхгаузен и не думает присаживаться: «Как вы можете сидеть тут, когда Савл в Павлах, улицы нет, и вообще ничего нет». Мужчина, к удивлению барона, не удивлен: «Если к ничего прибавить ничего, все равно выйдет ничего. И тому, кому некуда идти, мистер, – зачем ему улица? Кушайте, дети, стынет».

Барон, будто новая стена надвинулась на него, пятится к двери, опрокинув любезно подставленный стул, и по ступенькам: квадрат дома меж четырех стен. «А вдруг и эти тоже?» Скорее под низкие ворота: опять квадрат меж четырех нависших стен; ворота ниже и уже – и снова квадрат меж еще ближе сдвинувшихся стен. «Проклятая шахматница», – шепчет испуганный Мюнхгаузен и тотчас же видит: посреди квадрата – на огромной круглой ноге, вздыбив черную лакированную гриву, шахматный конь. Ни мига не медля, Мюнхгаузен впрыгивает коню на его крутую шею; конь прянул деревянными ушами, и, ловя коленями скользкий лак, Мюнх-

гаузен чувствует: шахматная одноножка, пригнувшись, прыгает – вперед, еще вперед и вбок, опять вперед, вперед и вбок; земля то проваливается вниз, то, размахнувшись шпилями и кровлями, ударяет о круглую пятку коня; но пятка, Мюнхгаузен это хорошо помнит, подклеена мягким сукном – бешеная скачка продолжается: мелькают сначала площади, потом квадраты полей и клетки городов – еще и еще – вперед, вперед, вбок и вперед; круглая пятка бьет то о траву, то о камень, то о черную землю. Затем ветер, свистящий в ушах, затихает, прыжки коня короче и медленнее – под ними ровное снежное поле; от его сугробов веет холодом; конь, оскалив черную пасть, делает еще прыжок и прыжок и останавливается среди леденящей равнины: подклеенная сукном нога примерзла к снегу. Как быть? Мюнхгаузен пробует понукать: «К g8-f6; f6-d5, черт, d5-b6», – кричит он, припоминая зигзаг «защиты Алехина». Тщетно! Конь отходил свое: деревянная кляча отходит. Мюнхгаузен плачет от гнева и досады, но слезы примерзли к ресницам, от холода нельзя устоять и секунды – и, растирая ладонями уши, он шагает вперед, вперед и вбок, и снова вперед, еще вперед и вбок, разыскивая хоть единое пятнышко на белоснежной скатерти, аккуратно, без морщинки, застилающей огромный круглый, лишь горизонтом отороченный, стол. И вдруг он видит: там, впереди, скользя легкой тенью, какая-то длинная, из острых готических букв, колючая и верткая многоножка. Мюнхгаузен ловит глазами черную вереницу букв и прочитывает их: это его

имя. Изумление обездвижило Мюнхгаузена. Тем временем осьмнадцатибуквое БАРОН ФОН МЮНХГАУЗЕН не теряет времени: выгибая слоги, оно скользким ползом внезапно к выставившемуся из земли пограничному столбу: на столбе доска – на доске знаки. Мюнхгаузен, с трудом отрывая примерзающие подошвы, вслед улепетывающему имени. Но имя уже доползло до столба и шлагбаума, занесшего красные и белые полосы над белой равниной, и оборачивается, чтобы взглянуть на преследователя – далеко ль? В это время, Мюнхгаузен ясно видит, шлагбаум быстро опускается – бело-красные полосы ударили по восьмой букве, и имя, как змея, рассеченная ножом, мучительно выгибает разлученные слоги: МЮНХГАУЗЕН – по ту сторону столба, БАРОНФОН – по эту. Став на чернилоточащем Н, бедное БАРОНФОН мечется из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Глаза Мюнхгаузена от букв на снегу к знакам пограничного столба: СССР. С минуту он стоит, раскрыв рот, потом мысль: бросить имя и бежать. Но подошвы башмаков успели вмерзнуть в снег. Он тянет было правую ногу, потом дергает левую; вдруг пограничное четырехбуквие шевельнулось – в ужасе Мюнхгаузен выпрыгнул из своих башмаков и в одних носках по ледяному насту; холод хватает за пятки, в отчаянии он мечется из стороны в сторону и… просыпается.

Правая туфля сползла с ноги, и под пяткой прохладный вощеный квадрат паркета. О стекла кабинета шуршит дождь, но тонкие штрихи его струй застлало ночью. Кукушка на ка-

мине кричит семь раз. Барон фон Мюнхгаузен протягивает руку к колокольчику.

Коттедж сумасшедших бобов зажигает огни и готовится к встрече вечерних гостей. Снизу о дубовую дверь стучит и снова стучит молоток: сначала появляется король биржи, через минуту – дипломатический туз. Затем старая леди, посвятившая себя спиритизму, когда наконец над порогом возникают уныло свисшие усы лидера рабочей партии, Мюнхгаузен, радушно подымаясь навстречу, восклицает с видом удачливого игрока:

– Коронка до валета. Прошу к нам в игру. Вас только и недоставало.

Но сверх тех, которых недоставало, приезжает и бывший министр без портфеля, которого уютный коттедж встречает, впрочем, столь же радушно и тепло.

Обмениваются новостями, не забывая ни альковов, ни парламента, гадают о предстоящих назначениях, о событиях в Китае; с министром без портфеля барон беседует об одном портфеле без министра, а дама-спиритка рассказывает:

– Вчера у Питшлей мы вызывали дух Ли-Хунг-Чанга: «Дух, если ты здесь, стукни раз, если нет – стукни два раза», – и представьте, Чанг стукнул два раза.

В это время внизу у двери двойной удар молотка:

– Неужели Ли? – вскакивает хозяин, готовый радушно встретить призрак.

Но на пороге слуга.

– Его святейшество епископ Нортумберлендский.

И через минуту рука в перстнях благословляет присутствующих.

Беседа продолжается. Слуга приносит тартинки, чай в фарфоре и тонконогие рюмочки с кюмелем. Некоторое время слова кружат от ртов к ртам, затем святейшество, отодвинув чайную чашечку, просит хозяина что-нибудь рассказать. С разрешения дамы барон Мюнхгаузен берет в руки трубку и, похрипывая изредка чубуком, приступает к рассказу. И тотчас же внимательно наставленные уши слушателей начинают вянуть: сначала у краев, потом по раковинному хрящу – внутрь и внутрь, и, свертываясь, как листья по осени, ухо за ухом, бесшелестно и тихо, одно за другим – на пол. Но дисциплинированный слуга с метелкой и скребком, появившись за спинами гостей, неслышно сметает уши в скребок и уносит за дверь.

– Случай этот имел место во время моего последнего пребывания в Риме, – шевелит клубы дыма голос рассказчика. – Было свежее осеннее утро, когда я, спустившись со ступенек кафедры св. Петра, перешел площадь, охваченную колоннадою Бернини, и повернул влево в узкую Борго Сан-Анджело. Если вам приходилось там бывать, вы, вероятно, помните пыльные окна с antichita[1] и лавчонки особого рода комиссионеров, которые, получив у вас вещь и несколько сольди, обязуются через неделю возвратить ее вам без сольди, но с

[1] Древность (*Пер. с итал.*).

папским благословением. Поскольку благословение присутствует в вещи невидимо, заказы выполняются бойко и всегда в срок. Тут же можно приобрести за недорогую цену амулет, зуб змеи, исцеляющий от лихорадки, коралловые джеттатуры от сглазу и полный набор прахов – от св. Франциска до св. Януария включительно, – аккуратно рассыпанный по аптечным мешочкам. Я завернул в одну из таких лавок и спросил прах св. Никто. Хозяин лавки пробежал пальцами по бумажным мешочкам: «Может быть, синьор удовлетворится св. Урсулой?» Я отрицательно покачал головой: «Я мог бы услужить синьору св. Пачеко: чрезвычайно редкий прах». Я повторил свое «Der heilige Niemand»[2]. Хозяин был, очевидно, честным человеком – он развел руками и с грустью признался, что требуемого в его лавке нет. Я повернулся было к двери, как вдруг внимание мое привлек один из предметов, стоящий в углу на полке: это была крохотная черная коробочка, из-под полуоткинутой крышечки которой торчали желтые космы всклокоченной пакли. «Что это?» – обернулся я к прилавку, и услужливые пальцы прахопродавца тотчас же пододвинули товар. Оказалось, это был кусок недогоревшей пакли, участвовавшей в ритуале апостолизирования Пия X. Как это всем известно, при посвящении папы над тонзурой избранника сжигают кусок пакли, произнося сакраментальное «sic transit gloria mundi»[3]. И вот, как клял-

[2] «Святой Никто» (*Пер. с нем.*).

[3] «Так проходит мирская слава» (*Пер. с лат.*).

ся мне хозяин лавки, которому я не имел основания не верить, во время совершения этой церемонии над Пием, как раз в момент произнесения сакраментальных слов, внезапным ветром унесло кусок пакли, который ему, собирателю раритетов, и удалось приобрести за некую сумму: «Синьор может сам убедиться, – раскрыл прахопродавец коробочку, – что пакля обожжена у краев и пахнет гарью». Это было действительно так. Я спросил о цене. Он назвал круглую цифру. Я ее пополам. Он сбавил – я прибавил; в результате коробочка с папской паклей очутилась в моем кармане. Я же – двумя часами спустя – в поезде Рим – Генуя. Мне, видите ли, не хотелось пропустить очередного конгресса христианских социалистов, заседания которого были назначены как раз в это время в генуэзском Palazzo Rosso[4]; для любителя неосуществимостей, к каким я позволю себя причислить, посещение подобного рода собраний бывает иной раз поучительным. Окна в вагоне были открыты; сырой воздух марены, затем ближе к Генуе ряд туннелей, смена духоты сквозняком – меня продуло, и уже в середине первого же заседания христиан-социалистов я почувствовал недомогание. Нужно было принять лечебные меры. Сунув руку в карман, я наткнулся на коробочку и вспомнил, что вата, а за неимением ее и пакля, вложенная в уши, – радикальное средство от простуды. Я открыл черную крышечку и сунул в левое и правое ухо по клочку папской ваты. И тотчас же… О, если бы вы зна-

[4] Красный дворец (*Пер. с итал.*).

ли, что произошло! Ораторы говорили, как и до пакли, рты шевелились, артикулируя речи, но ни единого звука, кроме тиканья моих часов, не доходило до моих барабанных перепонок. Я ничего не понимал: если оглох, то каким образом, не слыша слов, слышу тиканье маятника; если пакля, закупорившая мне уши, глушит звуки, ослабляет слышание, то каким образом громкие голоса тише еле слышимого хода часов. Расстроенный, я покинул собрание, прошел мимо беззвучно говорящих ртов и был радостно удивлен, когда, очутившись на улице, еще не успев сойти со ступенек подъезда, вдруг я сквозь паклю услышал: «Mancia»[5]. Слово было сказано старухой нищенкой. Ясно, пакля прекратила свое тормозящее действие. Навстречу мне из грязных лохмотьев старушечья ладонь, но я, торопясь проверить свой вывод, бросился назад в зал заседаний. Я спешил, но вывод был еще поспешнее: опять перед глазами шевелящиеся рты, но изо ртов – ничего, кроме артикулированной тишины. Что за дьявол – простите, ваше святейшество, беру дьявола обратно, – что бы это могло значить? Строю гипотезы вслед за гипотезами и вдруг вспоминаю, что пакля, торчащая из моих ушей, особенная, сакраментальная, отгоняющая вместе с дымом и всю gloria mundi[6], и что сквозь нее не пройти ничему преходящему, пекущемуся о славе мирской. Несомненно, это было так. Я не переплатил за мою покупку прахоторговцу с Борго Сан-

[5] «Подаяние» (*Пер. с итал.*).

[6] Мирская слава (*Пер. с лат.*).

Анджело, но только почему же речи адептов христианского социализма вязнут в моей вате и не пролезают в слух?

Погруженный в тягостное размышление, я возвратился в номер гостиницы. К следующему заседанию я решил усовершенствовать мой фильтр, отцеживающий христиан от прихристней и не пропускающий сквозь свои поры никакой тщеты. Я рассуждал так: если ни одно греховное слово не в силах протиснуться сквозь освященную паклю, застревая в тесном сплетении ее нитей, то что должно произойти, если сухим и жестким фибрам пакли придать некоторую скользкость? Должно будет произойти, и это вполне естественно, следующее: слова будут по-прежнему по своей медлительности и грубости (все-таки из воздуха) застревать и в скользкой пакле, но мыслям, скрытым в них, вследствие их эфирности и утонченности, наверное, удастся-таки проскользнуть меж скользких волокон и впрыгнуть в слух. Вынув из ушей паклю, я внимательно осмотрел оба комка: наружная поверхность их была под грязноватым налетом. Очевидно, след от докладов. Счистив эту, так сказать, стенограмму, я, прежде чем вложить паклю назад в левое и правое ухо, опустил ее в ложечку с жиром, обыкновенным, растопленным на свечке гусиным жиром. Часы напомнили мне, что через какие-то минуты заседание конгресса возобновится. Проходя по кулуарам, я слышал смутные голоса из зала: значит, уже началось. Приоткрыв дверь, я просунул запаклеванные уши в зал: конгресс был в сборе – на кафедре стоял благообразно-

го вида человек в корректном, застегнутом на все пуговицы сюртуке и, елейно улыбаясь, площадно ругался. В недоумении я оглядел ряды тех, к кому адресовалась ругань: зал благоговейно слушал, и сотни голов одобрительно качались в такт оскорблениям, сыпавшимся на эти же самые головы. Лишь изредка речь прерывалась аплодисментами и оратору кричали: «кретин», «льстюга», «флюгер», «подлец», – в ответ оратор прикладывал руку к груди и благодарно кланялся. Не в силах долее терпеть, я заткнул уши… то есть как раз наоборот, ототкнул их: оратор говорил о заслугах съезда в деле борьбы с классовой борьбой, отовсюду слышалось «браво», «вашими устами истина», «как метко и тонко». Только теперь я стал понимать, что несколько грамм пакли, спрессованной внутри моей коробочки, стоят доброго философского метода. И я решил процедить сквозь мою деглориоризирующую паклю весь мир. Набросав план опытов, я в ту же ночь отбыл с экспрессом, направляясь в…

И рассказ продолжается. Кукушка кричит одиннадцать и двенадцать, и только поздно за полночь трубка Мюнхгаузена вытряхивает пепел, а хозяин, досказав, провожает гостей до холла. Рабочий день кончился. И вкруг коттеджа сумасшедших бобов, с каждым вечером ширя и ширя разлет своих линий, завиваются новые и новые спирали: тонкие усики их уж за Ла-Маншем, грозя додлиниться до самых дальних меридианов земли. Афоризмы барона – он это знает – на пюпитрах обеих палат, рядом со стенограммой и повесткой дня;

рассказы и старинные историйки, начатые у сизого тягучего дымка трубки, дымными туманами оползают коттедж сумасшедших бобов, пробираясь под все потолки, от языка к языку и в неслышавшие уши. И, шаркая туфлями к теплой постели, барон смутно улыбается и бормочет:

– Мюнхгаузен спит, но дело его не смыкает глаз.

Глава III
Ровесник Канта

Хотя барон Мюнхгаузен предпочитал туфли штиблетам и досуг работе, но вскоре пришлось проститься с послеобеденной дремой и домоседством. Дым от старой трубки легко было рассеять ладонью, но «сделанный» дымом шум нарастал со стихийностью океанского прибоя. Телефонное ухо, раньше спокойно свисавшее со стальных вилок в кабинете барона, теперь неустанно ерзало на своих подставках. Дверной молоток без устали стучался в дубовую створу двери, телеграммы и письма лезли отовсюду, пяля свои круглые штемпеля на Мюнхгаузена; среди них рассеянно скользящие глаза барона наткнулись как-то на элегантно оттиснутое – старинным шрифтом по картону – извещение: группа почитателей просит высокоуважаемого барона Иеронима фон Мюнхгаузена посетить собрание, посвященное двухсотлетию деятельности высокопочитаемого барона. Юбилейный комитет. Сплендид-отель. Дата и час.

Парадные покои Сплендид-отеля иззолотились множеством электрических огней. Зеркальная дверь подъезда, бесшумно вращаясь, впускала новых и новых гостей. В центральном круглом зале задрапированный герб Мюнхгаузенов: по диагонали щита пять геральдических уток – клюв, хвост, клюв, хвост, клюв – летели, нанизанные на нить;

из-под последнего хвоста латинскими литерами: mendace veritas[7].

Вдоль длинных, древнеславянским мыслете расставленных столов – фраки и декольте. Члены дипломатического корпуса, видные публицисты, филантропы и биржевики. Уже много раз прозвенели бокалы, и восторженное «гип» вслед за пробками взлетало к потолку, когда поднялся юбиляр. Ему принадлежала реплика:

– Леди и джентльмены, – начал Мюнхгаузен, оглядывая примолкшие столы, – в Евангелии сказано: «В начале было Слово». Это значит: всякое дело нужно начинать словами. Я говорил это на последней международной мирной конференции, позволю себе повторить и перед настоящим собранием. Мы, Мюнхгаузены, всегда верно служили фикции: мой предок Гейно участвовал, вместе с Фридрихом II, в крестовом походе, а один из моих потомков был членом либеральной партии. Что можно против этого возразить? Одна и та же историческая дата привела нас в мир: меня и Канта. Как это, вероятно, известно достойному собранию, мы с Кантом почти ровесники, и было бы несправедливо в этот торжественный для меня день не вспомнить и о нем. Конечно, мы кое в чем расходимся с создателем «Критики разума»; так, Кантово положение: «Познаю лишь то, что привнесено мною в мой опыт», – я, Мюнхгаузен, интерпретирую так: привношу, а другие пусть попробуют познать привнесенное мной,

[7] Из лжи – истина (*Пер. с лат.*).

если у них хватит на это опыта. Но в основном наши мысли не раз встречались: так, наблюдая, как взвод версальцев, вскинув ружья, целился в безоружных коммунаров (это было у стен Пер-Лашеза), я не мог не вспомнить один из афоризмов Кенигсбергского старца: «Человек для человека – цель и ничем, кроме цели, быть не должен». Мистер Шоу, – повернулся оратор к краю заставленного цветами и бокалами мыслете, – в одной из своих талантливых пьес утверждает, что мы недолговечны лишь потому, что не умеем хотеть своего бессмертия. Но я, да простит меня мистер Бернард, иду гораздо дальше в отыскании секрета бессмертия: не нужно самому хотеть продления своей жизни в бесконечность, достаточно, чтобы другие захотели мне, Мюнхгаузену, долгой жизни, и вот я (голос оратора дрогнул) силой ваших хотений вступаю на путь Мафусаила. Да-да, не возражайте, леди и джентльмены, в ваших руках, протянутых мне навстречу, не только бокалы – вы открыли мне текущий счет на бытие. Сегодня я списываю со счета двести. В дальнейшем – как угодно: подтвердите счет или закройте его. В сущности, стоит вам вытряхнуть меня из зрачков, я нищ, как само ничто.

Но последние слова были смыты волной аплодисментов, хрусталь зазвенел о хрусталь, десятки ладоней искали ладонь юбиляра, он еле успевал менять улыбки, кланяться и благодарить. Затем столы к стенам, скрипки и трещотки заиграли фокстрот, а юбиляр, сопровождаемый несколькими дымящимися лысинами, проследовал мимо танцующих пар в

курительную комнату. Тут кресла были сдвинуты в тесный круг, и некое дипломатическое лицо, наклонившись к уху юбиляра, сделало конфиденциальное предложение. Момент, как это будет видно из дальнейшего, был знаменателен. В ответ на предложение, брови Мюнхгаузена поползли вверх, а указательный палец с лунным камнем на третьей фаланге скользнул по краю уха, как бы пробуя потрогать слова на ощупь. Тогда лицо, придвинувшись еще ближе, назвало некоторую цифру. Мюнхгаузен колебался. Лицо привесило к цифре ноль. Мюнхгаузен все еще колебался. Наконец, выйдя из раздумья, он вщурился в опустившийся к глазам смутно мерцающий овал лунного камня и сказал:

– Я уже бывал в тех широтах лет полтораста тому назад и не знаю, право… вы толкнули маятник – он качается меж да и нет. Конечно, я не такой человек, которого можно испугать и, так сказать, вышибить из седла, и даже опыт первого моего путешествия в страну варваров, чье имя только что здесь прозвучало, сэр, дает достаточный материал для суждения и о них, и обо мне. Кстати, если не считать кое-каких мелких публикаций, материал этот до сих пор остается не оглашенным. Знакомство мое с Россией произошло еще в царствование покойной приятельницы моей императрицы Екатерины II, впрочем, я отклоняюсь от вопроса, поставленного в упор.

Но дипломатическое лицо, верно учитывая возможности, сделало знак соседям, и те изъявили в лицах восторженное внимание:

– Просим.

– Прелюбопытно бы узнать…

– Я весь внимание.

– Слушаем.

Кто-то из недослуживших, взмахнув фрачным двухвостием, побежал к дверям и замахал руками на танцующих: фокстрот отодвинулся в более отдаленную залу. Барон начал:

– Когда наш дилижанс подъезжал к границе этой удивительной страны, пейзаж резко изменился. По эту сторону пограничного столба цвели пышным цветом деревья, по ту его сторону – расстилались снежные поля. Пока перепрягали лошадей, мы переменили наши легкие дорожные плащи на меховые шубы. Шлагбаум поднялся и… но я не стану рассказывать о приключении с песенкой, замерзшей внутри рожка нашего возницы, о случае с лошадью, повисшей на колокольне, и множестве других – всякий культурный человек знает их не хуже, чем свой бумажник или, скажем, отченаш, – остановим колеса дилижансу у въезда в столицу северных варваров, тогдашний Петербург. Надо вам сказать, что чуть ли не с предыдущим дилижансом в город святого Петра приехал небезызвестный в свое время философ – некий Дени Дидро: это был, на мой взгляд, пренесносный кропатель философем, выскочка из мещан и притом с явным материалистическим уклоном. Я, как вам известно, не терпел и не терплю материалистов, людей, любящих напоминать – кстати и

некстати, – что благоуханная амбра на самом деле экскремент кашалота, а букет цветов, в который прячет лицо прелестная девушка, на самом деле лишь связка оторванных половых органов растений. Кому нужно это дурацкое на самом деле? Не понимаю. Но к делу. Мы были приняты при дворе оба: Дидро и я. Не скрою: вначале императрица благоволила как будто больше, вы только представьте себе, к этому невоспитанному выскочке: Дидро мог, поминутно нарушая этикет, расхаживать взад и вперед перед самым носом коронованной собеседницы, перебивать ее и даже в пылу спора хлопать по коленке. Екатерина, милостиво улыбаясь, выслушивала его нелепейшие проекты: об уничтожении пьянства в России, о борьбе с взяточничеством, реформировании мануфактур и торговли и рационализации рыбных промыслов на Белом море. Я спокойно, отодвинутый в тень, ждал своего случая и своего часа. И как только этот пачкун в платье, забрызганном чернильными кляксами, принялся, по соизволению царицы, за расширение рыбных промыслов, я тоже перешел от замыслов к делу: у местных охотников я приобрел несколько изловленных капканами лисиц и начал за глухими и высокими стенами заднего двора усадьбы, где я жил, свои – вскользь уже описанные в моих мемуарах, вы помните? – опыты принудительного выселения лисиц из их шкур. Все шло как нельзя лучше, притом с соблюдением полной тайны. И пока Дидро пробовал ловить рыбу из замерзшего моря, я, явившись к царице, уже успевшей несколько разоча-

роваться в своем любимце, почтительнейше просил ее присутствовать при одном показательном опыте, который может произвести переворот в пушном промысле. В назначенный день и час царица и ее двор прибыли ко мне на задний двор: четверо дюжих гайдуков с плетьми в руках и лисица, привязанная за хвост к столбу, уже были готовы к их появлению. По данному мною знаку плети заходили вверх и вниз, и животное, рванувшись раз и другой, выпрыгнуло из своей кожи, тотчас же попав в руки пятого гайдука, только этого и дожидавшегося. Кто читал Дарвина, джентльмены, тот знает удивительную приспособляемость животных к среде. Выпрыгнув на мороз, голая лисица стала тотчас же покрываться мелкими шерстинками, шерстинки – тут же, на глазах – длинились в шерсть, и вскоре, обросши новой шубой, бедняжка перестала дрожать; но, увы, лишь затем, чтоб снова очутиться у столба под нахлестом плетей. И так – вы представляете себе – до семи шкур, пока животное, так сказать, не выпрыгнуло и из жизни. Приказав убрать падаль, я разложил семь шкур в ряд по снегу и, склонившись, сказал: «Семьсот процентов чистой прибыли». Императрица много смеялась, и я был допущен к руке. Затем мне было предложено составить письменный доклад о методах и перспективах пушной промышленности, что и было сделано незамедлительно. Начертав на докладе «гораздо», ее величество собственною рукой зачеркнув всюду «лисицы, лисицам, лисиц», изволила проставить: «люди, людям, людей» и «исправленному ве-

рить. Екатерина». Оригинальный ум, не так ли?

Рассказчик скользнул глазами по кругу из улыбок и продолжал:

– После этого нос господина Дидерота вытянулся, как если б его ущемило табакеркой за миг до приятнейшей понюшки. Парижский мудрец, привыкший быть запанибрата и с истиной, и с царицей, остался при одной истине. Общество вполне подходящее для подобного рода парвеню, хе-хе. Бедняге не на что было убраться восвояси – пришлось продавать за какие-то там сотни ливров библиотеку; приобрела ее императрица. На следующий же день, явившись на прием, я презентовал ее величеству тетрадь с описанием моих странствий и приключений. Прочтя, она сказала: «Это стоит библиотек». Мне были пожалованы поместья и сто тысяч душ. Желая отдохнуть от придворной лести и некоторых обстоятельств более деликатного характера, о которых умолчу, заметив лишь, что мне не слишком нравятся полные женщины, я отправился смотреть свои новые владения. Странен, скажу я вам, русский пейзаж: среди поля, как грибы под шляпками, семейка кое-как прикрытых кровлями курных изб; входят и выходят из избы через трубу, вместе с дымом; над колодцами, непонятно для чего, длинные шлагбаумы, притом часто в стороне от дорог; бани, в отличие от крохотных хибарок, строятся в семь этажей, называемых у них «полка́ми». Но я отвлекаюсь от темы. Среди просторов чужбины мне часто вспоминался мой родной Боденвердер:

острые аксансирконфлексы его черепичных кровель, старые полустертые буквы девизов, вчерненных в известь стены. Ностальгия заставляла меня беспокойно блуждать, лишь бы убить время, с ружьем через плечо по кочкам болот и тростниковым зарослям, ягдташ мой никогда не бывал пуст, и вскоре слава обо мне как об охотнике – кой-что попало в мои мемуары, но незачем повторять то, что знает наизусть любой школьник, – прошла от Белых вод до Черных. Но вскоре на смену бекасам и куропаткам – турки. Да-да, была объявлена война с турками, и мне пришлось, повесив свой охотничий штуцер на гвоздь, взять в эти вот руки, говоря фигурально, двести тысяч ружей, не считая фельдмаршальского жезла, от которого я, помня наши прежние отношения с царицей, не счел возможным отказаться. После первого же сражения мы не видели ничего, кроме неприятельских спин. В битве на Дунае я взял тысячу, нет, две тысячи пушек – столько пушек, что некуда было их девать; коротая боевые досуги, мы стреляли из них по воробьям. В одно из таких боевых затиший я был вызван из ставки в столицу, где на меня должны были возложить знаки ордена Василия Блаженного из четырнадцати золотых крестов с бриллиантами, – верстовые столбы замелькали мимо глаз быстрей, чем спицы колес двуколки, к которым я иногда наклонялся с сиденья. Въезжая в столицу на дымящихся осях, я велел замедлить конский бег и, приподняв треуголку, проехал мимо высыпавших мне навстречу толп к дворцу. Кланяясь направо и налево, я заметил, что

все россияне были без шапок; поначалу это показалось мне естественным проявлением чувств по отношению к триумфатору, но и после того как церемония въезда и принятия почестей была закончена, эти люди, несмотря на холодный ветер с моря, продолжали оставаться с обнаженными головами. Это показалось мне несколько странным, но не было времени на расспросы – снова замелькали версты, и вскоре я увидел ровные шеренги моих армий, выстроившиеся для встречи вождя. Подъехав ближе, я увидел: и эти без шапок, «Накройсь», – скомандовал я, и, тысяча дьяволов, команда не была выполнена. «Что это значит?!» – повернул я взбешенное лицо к адъютанту. «Это значит, – приложил он дрожащие пальцы к непокрытой голове, – что мы врага шапками закидали, ваше высокопревосх…»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.